

Юлий Айхенвальд

Пушкин



Юлий Айхенвальд
Пушкин

«Public Domain»

1910

Айхенвальд Ю. И.

Пушкин / Ю. И. Айхенвальд — «Public Domain», 1910 — (Силуэты русских писателей)

ISBN 978-5-457-13355-6

«Так символична знаменитая сцена на лицейском экзамене, исторический момент, перевал на дороге русской литературы; и, олицетворение XVIII века, старик, благословляющий кудрявого мальчика, юного орленка, это – самую жизнь поставленный апофеоз, торжественная смена столетий. Потом, спутница кипучей молодости, муза принимает образ вакханки; ласковая дева, она провожает своего поэта в ссылку и волшебством только для него внятного, для других тайного рассказа услаждает ему, невидимка, путь немой, путь одинокий; романтической Ленорой при свете луны она скачет с ним на коне по скалам Кавказа или, уже религиозная, водит его на берега Тавриды слушать вечную молитву моря, таинственный хор валов, хвалебный гимн Отцу миров; муза-дикарка, муза-степнячка, Земфира, она в глуши Молдавии печальной бродит с цыганами; при новой перемене жизненных декораций – «дунул ветер, грянул гром» – является она барышней уездной – прекрасная Татьяна с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках; и она же – на светском рауте, муза-аристократка, княгиня прирожденная...»

ISBN 978-5-457-13355-6

© Айхенвальд Ю. И., 1910

© Public Domain, 1910

Юлий Исаевич Айхенвальд Пушкин

В VIII главе «Евгения Онегина» Пушкин рассказывает нам поэтическую автобиографию. Его муза как бы растет на наших глазах; все глубже и многообразнее раскрывается его неиссякаемая душа. В студенческой келье, в садах Лицея слагает она, эта ранняя муза, божественная гостья, свои первые стихи; ее с Пушкиным слушают благосклонно, восхищенно, — и вот

Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Так символична знаменитая сцена на лицейском экзамене, исторический момент, перевал на дороге русской литературы; и, олицетворение XVIII века, старик, благословляющий кудрявого мальчика, юного орленка, это — самую жизнью поставленный апофеоз, торжественная смена столетий. Потом, спутница кипучей молодости, муза принимает образ вакханки; ласковая дева, она провожает своего поэта в ссылку и волшебством только для него внятного, для других тайного рассказа улаживает ему, невидимка, путь немой, путь одинокий; романтической Ленорой при свете луны она скачет с ним на коне по скалам Кавказа или, уже религиозная, водит его на берега Тавриды слушать вечную молитву моря, таинственный хор валов, хвалебный гимн Отцу миров; муза-дикарка, муза-степнячка, Земфира, она в глуши Молдавии печальной бродит с цыганами; при новой перемене жизненных декораций — «дунул ветер, грянул гром» — является она барышней уездной — прекрасная Татьяна с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках; и она же — на светском рауте, муза-аристократка, княгиня прирожденная.

Так разнообразны перевоплощения всепоэта Пушкина.

И нельзя охарактеризовать его лучше, чем это сделал он сам, хотя не имея в виду только себя, в известном стихотворении «Эхо»:

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.
Ты внемлешь грохоту громов
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

В самом деле, он — эхо мира, послушное и певучее эхо, которое несется из края в край, чтобы страстно откликнуться на все, чтобы не дать бесследно замереть ни одному достойному звуку вселенской жизни. В этой отзывчивости, в этом даре полногласных ответов на все живые голоса есть нечто по преимуществу человеческое, так как никто не должен ограничиваться определенной сферой впечатлений и мир для всякого должен существовать весь.

Вот отчего Пушкин творя претворял; он перенимал, он многому подражал – даже другим поэтам, обливался слезами над чужим вымыслом; ведь и чужое художественное создание уже само становится природой, чем-то первоначальным, и возвращается входит в общую совокупность явлений, так что и оно родит свой отклик в воздухе пустом. Пушкин вообще не высказывал каких-нибудь первых, оригинальных и поразительных мыслей; он больше отзывался, чем звал. Это именно потому, что он был истинный поэт. То, что был он очень умен и образован, вся эта сокровищница которая могла бы составить счастье и богатство другого, – все это для него составляло только придаток; все это драгоценное было у него лишь чем-то второстепенным и не проникало в самую суть его творчества, не определяло его. Свободный духом, царственно-беспечный, он, как художник, не обнаруживал и следа интеллектуализма – поэт «глуповатой» поэзии. Не промежуточная работа мысли и даже, с другой стороны, не наитие внезапных чисто умственных откровений создавали его силу, а непосредственная интуиция, вдохновенное постижение прекрасной сущности предметов – догадка красоты. И в его собственной душе жило так необъятно много этой красоты, что она могла находить себе утешение, созвучие, внутреннюю рифму только во всем разнообразии природы и во всей беспредельности человеческого бытия. Всеотзывная личность его была похожа на многострунный инструмент, и мир играл на этой Эоловой арфе, извлекая из нее дивные песни. Великий Пан поэзии, он чутко слышал небо, землю, биение сердец – и за это мы теперь слушаем его.

Но быть эхом вселенной не есть нечто пассивное и механическое: для того чтобы ответить, надобно услышать. И в этом послушании миру сказывается глубокое мировоззрение, происходит свободный выбор. Ведь Пушкин воспроизводил не то, что рассеивается во времени и пространстве, обреченное забвению, как шум печальный волны, плеснувшей в берег дальний: нет, он в силу художественного инстинкта, не задумываясь, отметал все случайное и брешное, он сразу улавливал самую основу и очарование действительности, вечное зерно преходящих явлений и вещей. Он пел для забавы, без дальних умыслов, но в результате возникала глубина и серьезность. То, что он повторил, что навеки удержал из текучей хаотичности жизненного гула, – это именно и есть то, что заслуживает бессмертия; как раз это и должно было остаться на свете, как раз эти чистые отклики и образуют мысль и музыку мира.

Эхо души и деяний, внутренних и внешних событий, прошлого и настоящего, Пушкин в своей отзывчивости как бы теряет собственное лицо. Но божество тоже не имеет лица. Определенные черты, физиономия присущи только тому, что ограничено, – их не знает мироздание как целое. И Пушкин, растворяясь в звуках, воспроизводящих все, отвечающих всему, именно в этом и находит самого себя, свой великий микрокосм.

От шалости до молитвы, от шутки и до гимна – в этом протекает жизнь, и это звучит в поэзии Пушкина. Она совершила весь человеческий цикл и развернула живой свиток естественной личности, которая дышит всею полнотой и силой жизненного дыхания. Перед нами не скудная тишина бесстрастия и равнодушия к жгучим приманкам земли, не срединная натура, спокойная в своей бесцветной безгрешности: напротив, мы видим, как бьется и трепещет в соблазнах горячая молодость, пенится вино на играх Вакха и Киприды; мы слышим изнеженные звуки безумства, лени и страстей; «под небом Африки моей» кипят волнуемые желания чувственной природы, – и все это кончается Мадонной, чистейшей прелести чистейшим образом. И гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов, Апулей и отцы-пустынники и жены непорочны, стихия языческая и стихия христианская, все типы мироощущений, свет и тени разнообразных чувств и помыслов – все это нашло себе у него симпатический отзвук гремучий непрерывный звон его неумолкнувшей лиры.

Сторукий богатырь духа, Пушкин в своем пламенном любопытстве, полный звуков я смятения, объемлет все, всех видит и слышит, каждому отвечает. Он сам сказал, что душа

неразделима и вечна, и он оправдал это на себе. Ему – дело до всего. Как бы не зная границ и пределов, не ощущая далекого и прошлого, вечно настоящий, всюду сущий, всегда и всем современный, он в этой сверхпространственности и сверхвременности переносится из страны в страну, из века в век, и нет для него ничего иноземного и чужого. Овидий жил и страдал давно, но Пушкин переживает с ним эти страдания теперь, и воскрешает в себе его тоскующий образ, и через вереницу столетий шлет ему свой братский привет. Та панорама жизни, которая так ярко и пышно разворачивается перед нами в несравненном послании к Юсупову, вся прошла в фантазии поэта, и еще с гораздо большей разнообразностью картин и красок; и то, чего недоставало Пушкину во внешних восприятиях – он, себе на горе, не видал чужих краев, где небо блещет неизъяснимой синевой, он не видел Бренды и адриатических волн, – все это восполнял он сказочною силой внутреннего зрения и в самом себе пережил эпохи и страны, многие культуры, и Трианон, и революцию, и рассказы Бомарше, и всю превратность человеческих судеб. Он претворил Ариосто в сказку, где русский дух, где Русью пахнет; он передумал Коран, и русские слова, в которые он воплотил его, зазвучали какою-то восточною мелодией и восточной философией, окрасились в колорит мечети и муэдзина; он перечувствовал Шекспира и Гёте, посетил в идеальном путешествии своих творческих снов Европу и Восток, понял Дон Жуана, и Скупого рыцаря, и другого, бедного рыцаря, который имел одно виденье, непостижное уму, – понял и зависть Сальери, и царицу Клеопатру, и вещего Олега, и мудрого Пимена, чей облик воссиял ему из тьмы времен. Для него были близки и понятны и Анакреон, и Песня Песней, и песни Шенье, которого Муза проводила до гильотины, и Хафиз, и Гораций, и все, что когда-либо волновало и восхищало людей.

Эта победа над ограничениями, какие полагает человеку скромная доля отмеренных людских сил, определенная вместимость индивидуальной, даже одаренной души, это поэтическое вездесущие не есть, конечно, только богатство тем и сюжетов, давно и всеми отмечаемое у Пушкина, это не простая внешняя виртуозность и гибкость писательской техники, и это даже не только могучие крылья удивительного таланта, не слабеющие в самых дальних полетах: это – проявление единства жизни, которое носил в себе Пушкин и которое делало законной и исполнимой его смелую мольбу – скрыться в воздушный ковчег, туда, в соседство Бога; это – внутренняя, органическая приобщенность ко всякой психологии, это – симпатия к Божьему миру. В самых разнообразных сферах, под оболочками чуждых народностей и речей, на протяжении многих времен, всегда и везде, сочувственно и глубоко узнает Пушкин единое всечеловеческое сердце и нераздельно переживает его радости и печали, как Махадева, который принимает облик человека, для того чтобы самому испытать многообразный опыт людей. Как замечает Шопенгауэр, повторяя индусскую мудрость, – эгоист всему внешнему для своей личности, всему, что не он, безглаголиво говорит: это не я, это не я; тот же, кто сострадает, во всей природе слышит тысячекратный призыв: *Tat twam asi* – это ты, это тоже ты. Из произведений Пушкина звучит нам именно последний клич; благодаря Пушкину, мы и сами отзываемся приветным отзывом на всякое дыхание – особенно, разумеется, на все человеческое. Его эстетический универсализм – в то же время и величайшая этика. К центру его духа протянулись живые нити от всего живущего.

Он поведет нас, например, под изданные шатры цыган и научит нас, что и там живут мучительные сны, и там горят роковые страсти; он противопоставит грандиозной объективности государственного дела субъективное горе бесхитростной души и около памятника Петра Великого заметит, едва ли не первый в русской литературе, маленькую фигуру бедного чиновника, которого счастье, и скромный роман, и самую жизнь задавило тяжело-звонкое скаканье Медного Всадника; и он отнесется к этому чиновнику, как старший и умный брат, но просто, без горькой насмешливости Гоголя, подаст ему только чистый хлеб сострадания, и разделит с ним его тоску в страшную ночь наводнения, и пожелает вместе с ним,

чтобы ветер выл не так уныло и чтобы дождь стучал в окно не так сердито; он в пустыне чахлой и скупой (нет существа скупее ничего не дающей пустыни) увидит человека, которого человек послал к Анчару даже не словом, а только властным взглядом, – но в неумолимых и потрясающих словах стихотворения, посвященного отравленному рабу, покажет нам и мрачную трагедию самого Анчара, которого природа жаждущих степей породила в день гнева и который стоит теперь в угрюмом одиночестве, один во всей вселенной, и плачет ядовитыми слезами: никто не приближается к нему, и ядом своим он прежде всего отравляет самого себя. Так занимают Пушкина и элементарные и тонкие драмы. В волнениях мировых событий не пройдут для него незамеченно те, чья личная судьба сочетается с ходом всенародных судеб; от него не будет скрыта ни участь Марии, которая изнывает в гареме хана, ни участь Марии, красы черкасских дочерей, которая свою тихую жизнь разбила о тревогу северной державы, – и нежные страдания сердца вплетает он в суровую ткань истории.

Для него нет в мире никого и ничего безусловно-презренного и ничтожного, ни одного безразличного существа, от которого можно было бы равнодушно отвернуться. Всё на свете важно, все на свете важны. Подобно тому как он замечает прозаические бредни повседневности, фламандской школы пестрый сор, и поэтизирует все, к чему ни прикасается, так и в людях благодатной прозорливостью ума и сердца всегда находит он что-нибудь светлое – несомненно, потому, что сообщает им внутренний свет и тепло своей собственной души. В «Домике в Коломне» Пушкин рассказывает про молодую богатую графиню, которая

Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).

.....
Графиня же была погружена
В самой себе, в волшебстве моды новой.
В своей красе, надменной и суровой.
Она казалась хладный идеал
Тщеславия. Его б вы в ней узнали;
Но сквозь надменность эту я читал
Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб... В них-то я вникал,
Невольный взор они-то привлекали...

У него царит приветливое отношение к людям, чудная внимательность к ним, – все равно, будет ли это Наполеон со своими мощными замыслами или хлопотливая старушка Ларина, будут ли это братья-разбойники или дядька Савельич из «Капитанской дочки», барышня ли крестьянка или задумчивая Мери, одна из сестер печали и позора, которая поет на пиру во время чумы. Он осуществил поэтическое равенство, у него нет иерархии людей, он не признает местничества. Его нежная любовь к подруге дней его суровых, дряхлой голубке-няне, чья память близка всей России, потому что она, добрая подружка, холила его жизнь и рассказала гениальному мальчику русские сказки, которые он впоследствии так поэтично повторил, – эта благодарность питомца, теплою волною пробегающая по его произведениям, – тоже лишь частичное проявление пушкинской ласки и поклона всему, что есть на свете доброго и душевного, что спасает от житейского холода и нравственного одиночества.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.